

Из воспоминаний Ийона Тихого

От издателя. Эти заметки, строго говоря, не являются отчетами о звездных путешествиях. Но я присоединяю их к избранным произведениям Ийона Тихого, ибо они представляют собой ценный документ, обогащающий новыми чертами образ этого заслуженного звездопроходца. Этот цикл не был ни записан, ни авторизован Ийоном, а представляет собой выборку из стенограмм, которые издатель сохранил в своих бумагах и опубликовал, дополнив их воспоминаниями друзей, принимавших участие в пятничных вечерах у Ийона Тихого¹.



I

Вы хотите, чтобы я опять что-нибудь рассказал? Да? Вижу, что Тарантога уже достал свой блокнот для записей... Профессор, подожди. Но мне действительно нечего рассказывать. Что? Нет, не шучу. Могу ведь я, в конце концов, хоть однажды иметь желание помолчать в такой вечер — в вашем кругу? Почему? Ба, почему! Мои дорогие, я никогда об этом не говорил, но космос прежде всего заселен такими же существами, как мы. Не просто человекоподобными, а похожими на нас как две капли воды. Половина обитаемых планет — это земли, немного побольше или немного поменьше нашей, с климатом более холодным или более тропическим, но что это за различие? А их обитатели... Люди — а по сути это люди — тоже так напоминают нас, что различия лишь подчеркивают сходство. Почему я не рассказывал о них? Что в этом странного? Подумайте. Смотришь на звезды. Вспоминаются

¹Lem S., Ze wspomnień Ijona Tichego. I—V.

© Перевод. Язневич В.И., 2022.

разные события, разные картины встают передо мной, но охотней всего я возвращаюсь к необычным. Может, они и страшны или противоестественны, или ужасны, даже смешны, и несмотря на все это безопасны. Но, мои дорогие, смотреть на звезды и знать, что эти маленькие голубые искорки — если поставить на них ногу — это господство уродства, печали, невежества, всяческого разрушения, что там, в темно-синем небе, тоже имеются старые лачуги, грязные дворы, сточные канавы, помойки, заросшие кладбища, — разве рассказы кого-то, посетившего Галактику, должны напоминать жалобы коробейника, бродящего по провинциальным городкам? Кто будет его слушать? И кто ему поверит? Такого рода мысли появляются, когда человек чем-то подавлен или ощущает нездоровое желание пооткровенничать. Поэтому, чтобы никого не огорчать и не унижать, сегодня — ни слова о звездах. Нет, я не буду молчать. Вы бы почувствовали себя обманутыми. Хорошо, я расскажу кое-что, но это будет не о путешествии. В конце концов, и на Земле я немало чего пережил. Профессор, если действительно хочешь, то можешь начинать записывать.

Как вы знаете, у меня бывают посетители, иногда очень странные. Из них выберу определенную категорию: непризнанных изобретателей и ученых. Не знаю почему, но я всегда притягивал их, как магнит. Тарантога усмехается, видите? Но я не о нем, он ведь не непризнанный изобретатель. Сегодня я буду говорить о тех, кому не повезло, а, впрочем, не так — кому очень сильно повезло: они достигли цели и увидели ее тщетность. Конечно, они не признались в этом. Неизвестные, одинокие, упорствующие в своем безумии, которое только известность и успех превращают иногда — чрезвычайно редко — в достижение прогресса. Разумеется, громадное большинство тех, кто приходил ко мне, были из серой братии одержимых, людьми, захваченными одной идеей, даже не своей, а перенятой у прежних поколений, как изобретатели вечного двигателя, убогими в замыслах, тривиальными в решениях, очевидным образом вздорных, однако даже в них тлеет этот огонь бескорыстности, сжигающий жизнь, заставляющий повторно предпринимать обреченные на тщетность усилия. Жалкими предстают эти убогие гении, титаны

карликового духа, от рождения искалеченные природой, которая в качестве своего мрачного юмора наделила их бездарность творческим рвением, достойным какого-нибудь Леонардо; их уделом в жизни являются равнодушие или насмешки, и все, что можно для них сделать, — это час или два побыть терпеливым слушателем и соучастником их мономании.

В этой толпе, которую только собственная глупость защищает от отчаяния, изредка появляются особые люди; не хочу их хвалить или осуждать, вы сделаете это сами. Первым человеком, который встает у меня перед глазами, когда я это говорю, является профессор Коркоран.

Я познакомился с ним девять лет назад, может быть десять. Это было на какой-то научной конференции. Мы поговорили только несколько минут, и вдруг ни с того ни с сего (и это никоим образом не было связано с темой нашего разговора) он спросил:

— Что вы думаете о дүхах?

В первый момент я подумал, что это его эксцентричная шутка, но я вспомнил, что до меня доходили слухи о его необычности; я только не помнил, в каком это говорилось смысле, положительном или отрицательном. Поэтому на всякий случай я ответил:

— По этому предмету я не имею никакого мнения.

Как ни в чем не бывало он вернулся к предыдущей теме. Уже послышались звонки, возвещающие о продолжении заседания, когда он неожиданно нагнулся — а он был намного выше меня — и сказал:

— Тихий, вы — мой человек. У вас нет предубеждений. Впрочем, возможно я ошибаюсь, но я готов рискнуть. Приглашаю вас к себе, — он подал мне свою визитную карточку. — Но заранее свяжитесь по телефону, ибо на звонки в дверь я не реагирую и никому не открываю. Впрочем, как хотите...

Еще в тот же вечер, ужиная с Савинелли, этим известным юристом, который специализировался на космическом законодательстве, я спросил его, знает ли он некоего профессора Коркорана.

— Коркоран! — воскликнул он со свойственным ему темпераментом, подогретым двумя бутылками сицилийского вина. — Этот сумасшедший кибернетик? А что с ним произошло? Я не слышал о нем с незапамятных времен!

Я ответил, что не знаю о нем ничего конкретного, только фамилия запала мне в память. Думаю, что такой мой ответ понравился бы Коркорану. Савинелли рассказал мне за вином несколько местных сплетен. Из них следовало, что Коркоран хорошо зарекомендовал себя как молодой ученый, хоть уже тогда проявлял совершенное отсутствие уважения к старшим, перерождающееся иногда в наглость, а потом стал правдолюбом из тех, которые умудряются получать удовлетворение как с того, что говорят людям, что о них думают, так и с того, что тем самым фактически сильно вредят самим себе. Когда Коркоран уже смертельно разобидел своих профессоров и коллег и перед ним закрылись все двери, он неожиданно получил большое наследство и, разбогатевши, купил какую-то развалюху за городом и перестроил ее в лабораторию. Там он пребывал с роботами — только таких ассистентов и помощников он терпел вокруг себя. Может, он и достиг чего-нибудь там, но страницы научных изданий были ему недоступны. Но это его совершенно не заботило. Если в то время он еще и завязывал какие-то отношения с людьми, то лишь для того, чтобы, сблизившись с ними, немислимо грубым образом, без какой-либо видимой причины оттолкнуть, оболгать их. Когда он порядком состарился и это отвратительное развлечение ему наскучило, он стал отшельником. Я спросил Савинелли, известно ли ему что-нибудь о том, что Коркоран верит в духов. Юрист, потягивавший тогда вино, чуть не захлебнулся от смеха.

— Он? В духов?! — воскликнул Савинелли. — Дружище, но он не верит даже в людей!!!

Я спросил, как он это понимает. Ответил, что совершенно дословно: Коркоран был, по его мнению, солипсистом — верил только в собственное существование, всех иных считал фантомами, видениями во сне и будто бы поэтому издавна так вел себя даже с самыми близкими людьми: если жизнь — это разновидность сна, то в нем все дозволено. Я заметил, что именно поэтому он может верить и в духов. Савинелли спросил, слышал ли я когда-нибудь о кибернетике, который бы в них верил. Потом мы поговорили о чем-то другом, но и того, что я услышал, было достаточно, чтобы заинтриговать меня. Я быстро принимаю

решения, поэтому позвонил на следующий же день. Трубку поднял робот. Я сообщил ему, кем являюсь и по какому делу. Коркоран позвонил мне только через день поздним вечером — я уже собирался отправиться спать. Он сказал, что я могу прийти к нему хоть прямо сейчас. Приближалось одиннадцать. Я ответил, что сейчас приеду, оделся и поехал. Лаборатория представляла собой большое мрачное здание, стоящее неподалеку от шоссе. Я видел его не раз. Думал, что это старая фабрика. Здание было погружено в темноту. Даже слабый огонек не освещал ни одного из квадратных окон, углубленных в стену. Также не была освещена большая площадка между железной оградой и домом. Несколько раз я спотыкался о скрежещущее ржавое железо, рельсы, так что уже слегка злой я добрался до едва заметной двери и позвонил специальным способом, как мне велел Коркоран. Через добрых пять минут дверь открыл он сам в сером, прожженном кислотами лабораторном халате. Коркоран был ужасно худой, костлявый, носил огромные очки и седые усы, с одной стороны короче, словно обгрызенные.

— Следуйте за мной, — сказал он без всяких вступлений.

Длинным, слегка освещенным коридором, в котором лежали какие-то механизмы, бочки, запыленные белые мешки с цементом, он подвел меня к большим стальным дверям. Над ними горела яркая лампа. Он вынул из кармана халата ключ, открыл двери и вошел первым. Я за ним. По винтовой железной лестнице мы поднялись на второй этаж. Перед нами был большой производственный цех с застекленным сводом — несколько незащищенных лампочек не освещали его, а только подчеркивали мрачную громадность. Он был пустынным, мертвым, брошенным, высоко под сводом гуляли сквозняки, дождь, который начал падать, когда я приближался к резиденции Коркорана, стучал в окна, темные и грязные, там и тут текла вода через рамы с выбитыми стеклами. Коркоран, словно не замечая этого, шел впереди меня по грохочущей под ногами железной галерее; снова стальные замкнутые двери — за ними коридор, беспорядок брошенных, словно в бегстве, навалом лежащих у стен инструментов, покрытых толстым слоем пыли; коридор свернул, мы поднимались, потом спускались, миновали похожие на высохших

змеи приводные ремни. Путешествие, во время которого я осознавал обширность здания, продолжалось; раз или два Коркоран в совершенно темных местах предостерег меня, что впереди ступенька, чтоб нагнулся; у последней в ряду стальной двери, скорее всего противопожарной, густо утыканной заклепками, он остановился, открыл ее; я заметил, что — в противоположность другим — она совсем не заскрипела, словно ее петли были недавно смазаны. Мы вошли в высокий зал, почти совсем пустой. Коркоран встал в центре, там, где бетонный пол был немного светлее, будто когда-то на этом месте стоял станок, от которого остались лишь выступающие остатки лежня. По стенам проходили вертикальные толстые брусья, так что все это напоминало клетку. Я вспомнил тот вопрос о духах... К брусьям были прикреплены полки, очень прочные, с подпорками, на них стояло полтора десятка чугунных ящиков. Знаете, как выглядят те сундуки с сокровищами, которые в преданиях закапываются корсарами? Именно такими и были эти ящики с выпуклыми крышками, на каждом висела завернутая в целлофан белая карточка, похожая на тот документ, какой обычно вешают над больничной кроватью. Высоко под потолком горела запыленная лампочка, но было слишком темно, чтобы я хоть слово мог прочитать из того, что было написано на карточках. Ящики стояли в два ряда, друг над другом, а один находился выше, отдельно от других; я посчитал, их было то ли двенадцать, то ли четырнадцать, уже не помню точно.

— Тихий, — обратился ко мне профессор, держа руки в карманах халата, — вслушайтесь немного в то, что здесь происходит. Потом я вам расскажу, а сейчас — прислушайтесь!

Он был очень нетерпелив — это бросалось в глаза. Едва начав говорить, он сразу хотел добраться до сути, иметь уже все за собой, уже завершить. Словно каждую минуту, проведенную с кем-то другим, он считал потерянной.

Я закрыл глаза и скорее из простой вежливости, чем из интереса к звукам, которые, входя в помещение, даже и не слышал, немного постоял неподвижно. Собственно, ничего и не услышал. Какое-то слабое жужжание электрического тока в обмотках, что-то в этом роде, но уверяю вас, что оно было столь тихим,

что и голос умирающей мухи там можно было бы превосходно расслышать.

— Ну, что вы слышите? — спросил он.

— Почти ничего, — признался я, — какое-то гудение... Но, возможно, это только шум в ушах...

— Нет, это не шум в ушах... Тихий, послушайте внимательно, ибо я не люблю повторять, а говорю это, потому что вы меня не знаете. Я не грубиян и не хам, каковым меня считают, просто меня раздражают идиоты, которым нужно десять раз повторять одно и то же. Надеюсь, что вы к ним не принадлежите.

— Увидим, — ответил я, — я вас слушаю, профессор...

Он кивнул головой и, показывая на ряды этих железных ящиков, сказал:

— Вы разбираетесь в электронных мозгах?

— Только настолько, насколько это требуется для навигации, — ответил я. — С теорией у меня, пожалуй, слабовато.

— Я так и думал. Но это не страшно. Слушайте, Тихий. В этих ящиках находятся самые совершенные электронные мозги, какие когда-либо существовали. Знаете, в чем заключается их совершенство?

— Нет, — ответил я в соответствии с истиной.

— В том, что они ничему не служат, что они абсолютно ни для чего не пригодны, бесполезны, что они, если кратко, являются воплощением мной в реальность, облечением в материю монад Лейбница...

Я ждал, а он продолжал говорить, при этом его седые усы в господствующем полумраке выглядели так, словно у его губ трепетала беловатая ночная бабочка.

— Каждый из этих ящиков содержит электронную систему, формирующую сознание. Как наш мозг. Строительный материал иной, но принцип тот же. На этом подобие кончается. Ибо наши мозги — обратите внимание! — подключены, можно сказать, к внешнему миру посредством чувственных приемников: глаз, ушей, носа, кожи и так далее. А эти же, здесь, — вытянутым пальцем он показывал на ящики, — имеют свой «внешний мир» там, внутри...

— Как же это возможно? — спросил я. Что-то для меня начинало проясняться; догадка была смутной, но вызывала дрожь.

— Очень просто. Откуда мы знаем, что у нас такое тело, а не иное, именно такое лицо, что мы стоим, что держим в руке книгу, что цветы пахнут? Знаем, так как определенные импульсы воздействуют на наши органы чувств и по нервам в наш мозг бегут сигналы. И вообразите себе, Тихий, что я смогу воздействовать на ваш обонятельный нерв таким же образом, как это делает пахнущая гвоздика, — что вы будете ощущать?

— Запах гвоздики, конечно, — ответил я, а профессор, кивнув головой, словно радуясь, что я достаточно понятлив, продолжил:

— А если то же самое я сделаю со всеми вашими нервами, то вы будете ощущать не внешний мир, а то, что Я по вашим нервам протелеграфирую в ваш мозг... Понятно?

— Понятно.

— Продолжаю. Эти ящики имеют рецепторы-органы, действующие аналогично нашему зрению, обонянию, слуху, осязанию и так далее. Но провода от этих рецепторов — подобно нервам — подключены не к внешнему миру, как наши, а к тому барабану, который стоит в углу. Вы не заметили его, нет?

— Нет, — ответил я.

Действительно, такой барабан диаметром порядка трех метров стоял в глубине зала, вертикально, словно поставленный мельничный жернов, и через некоторое время я заметил, что он очень медленно вращается.

— Это их судьба, — спокойно произнес профессор Коркоран. — Их судьба, их мир, их бытие — все, что они могут достичь и познать. Там находятся специальные ленты с записанными электрическими импульсами — такими, которые соответствуют тем ста или двумстам миллиардам явлений, с которыми человек может столкнуться в наиболее богатой впечатлениями жизни. Если бы вы подняли крышку барабана, то увидели бы только блестящие ленты, покрытые белыми зигзагами подобно плесени на целлулоиде, но это, Тихий, знойные ночи юга и шум волн, это силуэты зверей и стрельба, это похороны и пьянки, вкус яблок и груш, снежные метели, вечера, проведенные в семейном кругу у пылающего камина, и крики на палубе тонущего корабля,

и конвульсии больного, и горные вершины, и кладбища, и бредовые галлюцинации... Ийон Тихий, там весь мир!

Я молчал, а Коркоран, вцепившись в мое плечо железной хваткой, продолжил:

— Эти ящики, Тихий, подключены к искусственному миру. Этому, — он показал на крайний ящик, — кажется, что он — семнадцатилетняя девушка, зеленоглазая, с рыжими волосами, с телом, достойным Венеры. Она дочь государственного деятеля... Влюблена в молодого человека, которого почти каждый день видит в окно... Который будет ее проклятием. Вот этот второй — ученый. Он уже близок к созданию общей теории гравитации, справедливой в его мире — в том мире, границами которого являются металлические стенки барабана, и он готовится к борьбе за свою правду, причем в одиночестве, усиливающимся грозящей ему слепотой, ибо он ослепнет, Тихий... А там, выше, находится член духовной коллегии, и он переживает самые трудные дни своей жизни, ибо утратил веру в существование своей бессмертной души. Рядом, за перегородкой, стоит... Но я не могу пересказать вам жизни всех существ, которых создал...

— Можно вас прервать? — спросил я. — Мне хотелось бы знать...

— Нет! Нельзя! — крикнул Коркоран. — Никому нельзя! Сейчас я говорю, Тихий! Вы еще ничего не понимаете. Вы, наверное, думаете, что там, в этом барабане, различные сигналы записаны, как на граммофонной пластинке, что события придуманы, как мелодия, со всеми тонами и только ждут, как музыка на пластинке, чтобы ее оживила игла, что эти ящики воспроизводят по очереди комплексы переживаний, уже заранее до конца установленных. Неправда! Неправда! — кричал он пронзительно, так что под жестяным сводом отзывалось эхо. — Содержимое этого барабана для них то же, что для вас мир, в котором вы живете! Ведь вам не приходит в голову, когда вы едите, спите, встаете, путешествуете, навещаете старых безумцев, что все это — граммофонная пластинка, прикосновение к которой вы называете действительностью!

— Но... — отозвался я.

— Молчите! — крикнул. — Не мешайте! Я говорю!